

который в понятии открытости “схватывается” как нерасчлененное целое. Если так, то интенциональность оказывается самым содержанием существования вот-бытия, а значит, главной темой экзистенциальной аналитики.

3) Поскольку “нозматический” срез бытия-в-мире составляет не просто совокупность сущего, но именно мир как определенным образом структурированное единство (“мир в его мирности” [1, § 15–18]), и поскольку это единство является одним из априорных оснований открытости какого бы-то ни было “отдельного” сущего, мы можем говорить также о горизонтности как универсальной структуре “интенциональной жизни” (бытия-в-мире) вот-бытия.

4) Наконец, всякое “Вот” возможно, по Хайдеггеру, только в темпоральном горизонте, и более того, само внутреннее содержание этого феномена получает в экзистенциальной аналитике отчетливо выраженную темпоральную “окраску”, поскольку структурные составляющие открытости – располотение и понимание – раскрывают для вот-бытия соответственно его прошлое и будущее, т.е. моменты его временности. “Временность обнажается как смысл собственной заботы” [1, с. 326]. Забота же есть не что иное как структурное единство самого бытия-в-мире, следовательно, осмысленность последнего предполагает раскрытие его временного содержания.

Резюмируя сказанное в этом разделе, перечислю основные терминологические соответствия феноменологии Гуссерля и экзистенциальной аналитики: трансцендентальный субъект – вот-бытие; интенциональность – бытие-в-мире (открытость); интенция – Вот; Я – Кто (самость); нозза – бытие-в...; нозма – сущее (внутримирное сущее, вот-бытие Другого и собственное вот-бытие).

Безусловно, в трактовке всех перечисленных моментов интенциональности Хайдеггер в значительной мере отходит от основоположений Гуссерля. Так, в лекционном курсе “Прологомены к истории понятия времени” (1925 г.), в котором Хайдеггер достаточно подробно анализирует феноменологическое учение Гуссерля, он соотносит понятия заботы и интенциональности следующим образом: “После того, как мы поставили различные структуры вот-бытия в определенную взаимосвязь с фундаментальным феноменом заботы, мы достигли ступени рассмотрения, позволяющей критически переосмыслить то, что мы слышали во вводной части об *интенциональности*. Феномен заботы как фундаментальной структуры вот-бытия позволяет понять, что то, что схватывается в феноменологии под наименованием интенциональности, и то, как оно схватывается, – фрагментарно и является лишь видимой внешне стороной феномена. То, что понимается под интенциональностью – просто направленность на... – еще должно быть возвращено на свое истонное место – в единую фундаментальную структуру прежде-себя-бытия-явления понимается как интенциональность. Я лишь совсем кратко указываю на это, чтобы обозначить тот пункт, из которого разворачивается основополагающая критика феноменологической постановки вопросов” [4, с. 320].

Оставляя в стороне вопрос об отличительных чертах хайдеггеровской трактовки интенциональности, я хочу подчеркнуть, что даже в приведенном критическом пассаже Хайдеггер не *отвергает* понятие интенциональности, но лишь *переосмысливает* его, точнее, ставит задачу истолковать этот феномен на иных, нежели у Гуссерля, основаниях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 451 с.
2. Михайлов И.А. Был ли Хайдеггер “феноменологом”? // Логос. 1996. № 6. С. 283–302.
3. Борисов Е. В. От переводчика // Хайдеггер М. Прологомены к истории понятия времени. Томск, 1998. С. 342–344.
4. Хайдеггер М. Прологомены к истории понятия времени. Томск, 1998. 383 с.
5. Tugendhat E. Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie. Frankfurt/M., 1990. 190 S.
6. Claesges U. Zweideutigkeit in Husserls Lebenswelt-Begriff // Perspektiven transzendentalphänomenologischer Forschung. Den Haag, 1972. S. 92–104.

Статья представлена кафедрой истории философии и логики философского факультета Томского государственного университета, поступила в научную редакцию 1 октября 1998 г.

УДК 141

В.А. Суровцев

ФИЛОСОФИЯ РАННЕГО ВИТГЕНШТЕЙНА: КОНФЛИКТ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 97-03-04328.

Рассматриваются попытки представителей аналитической философии однозначно вписать взгляды раннего Витгенштейна в доктринальные рамки либо метафизики, либо трансцендентализма и предлагается интерпретация, которая прежде всего отталкивается от нового философского опыта, связанного с логическим анализом языковой структуры. Учитывая методологические принципы, основанные на автономии логики, демонстрируется, что трактовка взглядов раннего Витгенштейна зависит от ракурса рассмотрения, где стремление концептуализировать сферу теоретического и деконцептуализировать сферу практического задаёт трансцендентальную компоненту его философии, а попытка внеличностного представления мира в языке – метафизическую.

Философия раннего Витгенштейна вызывала и продолжает вызывать интерес исследователей своей концептуальной завершенностью, что столь нехарактерно для философских штудий XX века. Это обстоятельство делает её исключительно важным объектом для исследования генезиса новых философских движений, создавших уникальную панораму современной мысли. Если часть действительно даёт представление о целом, то философия раннего Витгенштейна демонстрирует замечательный пример системы,

лежащей в основании одного из наиболее распространённых течений современной мысли – аналитической философии. Причём систематичность и концептуальная завершенность взглядов интересующего нас мыслителя дают уникальную возможность проследить все достоинства и недостатки последней, так как, несмотря на разноречивость онтологических представлений, лежащих в основании достаточно разнородных её ответвлений, аналитическую философию характеризует единый методологический мотив, определяемый целью анализа различных языковых практик.

Исторически сложилось так, что идеи, высказанные в “Логико-философском трактате”, служили отправным пунктом (либо в качестве позитивной основы, либо в качестве приложения критических усилий) развития тем, занимающих философов-аналитиков. Сообразно установкам и преобладающим мотивам идеям австрийского философа (как в целом, так и в частности) придавалась различная, зачастую прямо противоположная интерпретация. Без преувеличения можно сказать, что философия раннего Витгенштейна – одна из самых изученных философских систем. Однако последнее не раз приводило к конфликтам в интерпретации как общей направленности интересующей нас философии, так и отдельных её положений. Цель данной работы – проанализировать наиболее типичные подходы и дать их критическую оценку.

Под философией раннего Витгенштейна мы будем понимать совокупность идей, высказанных им в работах, заметках, дневниках и письмах в 1913–1921 гг. и получивших наиболее полное воплощение в “Логико-философском трактате” (1918 г.) [1]. Эти материалы неоднородны. Многие из них можно рассматривать лишь как подготовительные, а значит, и не вполне адекватные выражению мысли. Однако они дают отчётливое представление о проблемном поле, сформировавшем взгляды философа, особенно тех разделов его системы, которые касаются проблемы “невыразимого”. Хорошим подспорьем в понимании ранних взглядов могут служить и более поздние труды, особенно работы конца 20-х – начала 30-х гг., в которых Витгенштейн полемически заостряет формулировки своих ранних работ, выступая их самым непримиримым критиком. Австрийский мыслитель относится к числу тех не многих, кто в течение жизни пытался реализовать две несовместимые друг с другом философские программы. Соответственно менялось и его отношение к комплексу представлений, высказанных им в ранний период. Пожалуй, никто столь безапелляционно не настаивал на абсолютной истинности высказанных им идей, чтобы потом их столь же непримиримо отрицать. В 1918 г. в предисловии к “Логико-философскому трактату” он писал, что “истинность высказанных здесь мыслей представляется мне неоспоримой и завершенной. Таким образом, я считаю, что поставленные проблемы в своих существенных чертах решены окончательно”. Через много лет, отзываясь об этой же книге в приватной беседе, он уже придерживался прямо противоположного мнения, высказываясь на её счёт в том смысле, что “каждое предложение этой книги – симптом болезни” [2, с. 84].

Было бы однако совершенно неверным делать вывод, что Витгенштейн перестал считать значительными достигнутые им в ранний период результаты. Много позднее, готовя к публикации “Философские исследования”, в которых концептуально оформились его поздние взгляды, он в предисловии пишет о своём желании опубликовать под одной обложкой старые и новые мысли, очевидно, считая первые до конца продуманной альтернативой последних [3, с. 78]. В своих поздних заметках Витгенштейн не раз возвращается к идеям, высказанным в “Логико-философском трактате”, как к примеру, на котором оттачивалась его аргументация. И в этом отношении можно говорить о целостности развития его мысли. Однако если поздние взгляды Витгенштейна в настоящее время задают фон практически всех движений философской мысли в англоязычных странах, то его

ранняя философия с середины 60-х гг. вписана в реестр историко-философских исследований. Причём она не только неоднократно интерпретирована, что представляло бы её лишь как одно из многих направлений в рамках аналитической философии, характеризующегося концептуальной законченностью, но и кодифицирована (терминологически, тематически и исторически) (см., например, [4]), что выводит её на уровень определённого эталона, сравнимого с лучшими образцами западноевропейской философии.

Независимо от предлагаемых интерпретаций, философия раннего Витгенштейна осознаётся как своеобразная концепция, отличающаяся как по целям, так и по результатам от современных ей и в чём-то сродных течений (например, логического атомизма Б. Рассела или логического эмпиризма Венского кружка). Следовательно, она представляется как экзemplификация определённого аналитического метода. Однако любая интерпретация философии раннего Витгенштейна сталкивается с рядом проблем.

Во-первых, сложность и даже эзотеричность ранних работ связана с использованием символического аппарата, идей и методов современной логики. Последнее обстоятельство позволило Г. Рилло, одному из учеников Витгенштейна, как-то заметить по поводу “Логико-философского трактата”, что он “в значительной мере закрытая книга для тех, кто не понимает его технического оснащения. Редко кто может прочитать его без чувства, что происходит нечто важное, но лишь некоторые могут сказать, что именно” [5, с. 6]. Поэтому любой сколь-нибудь подробный анализ философии раннего Витгенштейна предполагает основательное знакомство с аппаратом современной логики. Действительно, исходный пункт размышлений Витгенштейна, несмотря на многообразие следствий, выходящих за рамки сугубо внутренних потребностей логики, по сути сводится к интерпретации достижений современного формально-логического анализа, предложенного Фреге и Расселом взамен традиционного, берущего начало ещё с Аристотеля. Наш философ и сам внёс достаточный вклад в развитие технических приёмов логики, в частности, разработав метод истинностных таблиц и применив его к теории логического вывода. Интересно, однако, что эти достижения были мотивированы не просто внутренними потребностями логики, но в значительной степени связаны с сугубо философским движением его мысли.

Во-вторых, проблема относится скорее к стилевым, нежели к содержательным особенностям ранних работ. Она не так проста, как кажется на первый взгляд.

В “Дневниках” от 9.11.14 Витгенштейн писал: “Причиной моих лучших открытий было то, что я хотел бы назвать сильным схоластическим чувством” [6, с. 45]. Что бы ни понимал в данном случае под схоластическим чувством сам автор, у читателя как “Трактата”, так и других работ возникает ощущение, что они специально писались, как бы предполагая будущий комментарий. Основной текст раннего Витгенштейна представляет собой совокупность упорядоченных и пронумерованных афоризмов, содержащих внутренние отсылки. Структура “Логико-философского трактата” не имеет аналогий в западной традиции и скорее напоминает классические тексты индийских философских систем. Каждое положение этих текстов сопровождалось и в значительной степени прояснялось последующим комментарием, зачастую написанным самим автором текста.

Подобных автокомментариев Витгенштейн не оставил. Скорее, он затемнил суть дела, указав принцип нумерации афоризмов, где каждый номер не только отсылает к главной мысли, к которой относится данное замечание, но и субординирует её в рамках тематического раздела. Такой ход придавал видимость того, что экспозиция развиваемых идей задана однозначно, где главные ходы мысли начинают рубрикацию, а второстепенные образуют их фурнитуру, в соответствии с нумерацией развивая содержание основных. И поскольку в композиционном единстве “Логико-философского трактата” не откажешь, это было бы вполне оправданно, если бы сам Витгенштейн, как показали исследования, сплошь и рядом не отступал от принятой им системы компоновки афоризмов.

Окончательно разрушил миф об однозначной композиционной определённости “Трактата” Э. Стениус, продемонстрировав это на множестве примеров [7, с. 1–17]. Считая, что Витгенштейн “скорее чувствовал, нежели точно знал”, как нужно расставить афоризмы, Стениус передаёт процесс организации этого произведения во власть художественного гения, сравнивая композиционное единство “Трактата” с композиционным единством музыкального произведения, где есть свой ритм, с главными и второстепенными темами, тональностями, темпом и т.д., регулируемые нумерацией. Замечания Стениуса стали ещё более основательными после того, как Г.-Х. фон Вригтом была обнаружена и опубликована одна из ранних версий “Трактата”, где целый ряд фрагментов упорядочен и пронумерован совершенно по-другому [8]. Впрочем, данные замечания несколько не противоречат установкам самого Витгенштейна, который ещё в заметках 1913 г. не считал философию дедуктивной наукой. Он, в частности, писал: “В философии нет умозаключений; она – чисто дескриптивна” [9, с. 130].

В самом деле, строгой последовательной экспозиции можно было бы ожидать лишь тогда, когда связь афоризмов представляла бы собой связь посылок и заключений. Но “Логико-философский трактат” – это тот случай, когда последовательность изложения нельзя оправдать дедукцией из очевидных оснований, поскольку сами эти основания есть лишь следствие автономности логики, т.е. определённой философской установки, которую Витгенштейн положил в основание своей конструкции.

Отсюда и дескриптивный характер ранних работ с их системой перекрёстных отсылок. Последние же как раз и указывают на неприменимость дедукции. В системе умозаключений не может быть взаимоотсылок – это был бы *circulum in demonstrando* – и, следовательно, это была бы мнимая дедукция. Увидеть и описать – вот метод исследования. Главное, знать куда смотреть. В данном случае вполне можно согласиться с мнением Г. Энском, одной из учениц Витгенштейна: “Эта книга завладела умами людей, оставаясь в то же время во многих местах исключительно тёмной. ... “Трактат” не строится как последовательный вывод из посылок; если мы хотим найти основание для его понимания, мы должны посмотреть в середину, а не в начало” [10, с. 18].

Но если связь афоризмов, прослеживаемая в нумерации, лишь относительна, то вполне допустимы их рекомбинации, порождающие, подобно машине Раймонда Луллия, новые грани понимания. Продолжая музыкальную аналогию Стениуса, можно сказать, что отказ рассматривать структуру “Трактата”, а следовательно, и композиционное единство всей ранней философии Витгенштейна как однозначно заданное, приводит к тому, что стремление к «одноголосице», удовлетворяющей всех, заменяется сознательным «многоголосием», порождающим всё новые и новые интерпретации, зависящие не только от вчитывания в оригинальный текст, но и от новейших разработок в области формальной логики. Каждый исследователь создаёт собственную аранжировку.

Укажем ещё на один важный момент. В целом ранние вещи Витгенштейна никогда не отличались особенной ясностью, да и “Логико-философский трактат” отнюдь не популярное изложение, а, судя по введению, претендует на понимание лишь одного человека, видимо, Б. Рассела. И хотя работа исследователей сделала более понятными отдельные афоризмы, особенно по части технических деталей, редко кто не согласится с классификацией, использованной Э. Стениусом при разработке своей собственной интерпретации: “Во-первых, есть предложения, которые, как я думаю, понял и которые считаю ясными, стимулирующими и важными. Их я конечно же нахожу лучшей частью книги. Вторыми идут предложения, которые, как я думаю, понял, и с некоторой долей уверенности считаю ложными или содержащими заблуждение. Таким образом, я расцениваю их следующими по значимости за предложениями первой группы. В-третьих, есть такие предложения, которые я не понимаю и, следовательно, ценность которых я не могу оценить. И, в-четвёртых, есть ряд таких предложений, которые, с одной стороны кажутся понятными, но, с другой стороны, им дано неопределённое и тёмное выражение, следовательно, их невозможно принять или отвергнуть” [7, ix].

Последнее замечание в совокупности с предыдущими позволяет понять не только то, почему имеет место множественность интерпретаций отдельных положений, высказанных Витгенштейном в ранний период творчества, но и то, что существуют различные понимания всей его ранней философии, часто противоречащие друг другу в трактовке цели, метода и места философа в истори-

ко-философской традиции. Исследователи творчества раннего Витгенштейна очень быстро перешли от истолкования отдельных афоризмов “Трактата” к оценке его содержания в целом, что во многом было обусловлено стремлением вписать его в рамки тенденций развития западной философии.

В целом позиция, прорисованная в ранних работах, характеризуется исключительным вниманием к языку. И если воспользоваться выражением самого Витгенштейна, его главная цель – “провести границу мышлению, или скорее не мышлению, а выражению мысли” [1, предисловие]. Такая постановка вопроса допускает две существенно различные интерпретации – критическую и метафизическую. Критическая установка реализуется в исследовании условий возможности языкового опыта, тогда как метафизическая связана с объяснением сущности языка, отталкивающимися от структуры реальности. Интересно то, что у Витгенштейна присутствуют обе тенденции, но не просто установить, какая из них превалирует. Явная компоновка “Трактата” (который начинается с метафизических спекуляций по поводу структуры реальности), отражаясь в языке, образует совокупность осмысленных предложений, рассматриваемых как непосредственный образ фактов, казалось бы говорит в пользу второй интерпретации. Этому же служит и развиваемая в последних афоризмах теория метафизического молчания, которое позволяет выйти за рамки, предопределённые языковой структурой, в область невыразимого, мистического опыта.

С другой стороны, целый ряд положений, выдвинутых Витгенштейном, и используемая им терминология говорят в пользу трактовки его цели как критической. Действительно, развиваемая в “Трактате” онтология в некотором смысле ‘перевернута’, поскольку во многом моделируется в соответствии со структурой пропозициональной логики, устанавливающей условия возможности применения языка к миру. В этом ход мысли Витгенштейна вполне соответствует “коперниканскому перевороту” Канта. Однако нигде в “Трактате” мы не найдём ничего такого, что хотя бы отдалённо напоминало трансцендентальную дедукцию “Критики чистого разума”. Более того, Витгенштейн принципиально исключает всякое упоминание о субъективности (как психологической, так и трансцендентальной) из языка описания. Не стоит перед ним и проблема синтетического *a priori*, так как любое всеобщее и необходимое знание всегда имеет аналитический характер, поскольку вне логики всё оказывается случайным. Если логика и моделирует реальность, то только последовательно вынося субъекта за рамки самих моделирующих отношений.

Но является ли такой ход трансцендентальным? Вполне определённо на этот вопрос отвечает Швайдер: “Философия Витгенштейна была кантианской от начала и до конца” [11, с. 66]. Более умеренную оценку даёт известный исследователь аналитической философской традиции Д. Пэрс, который хотя и говорит, что для Витгенштейна “философия была критикой языка по объёму и цели очень похожей на кантовскую критику мышления” [12, с. 12], тем не менее отчетливо осознаёт ряд метафизических мотивов в его раннем творчестве, связывая

их прежде всего с некритическим усвоением того тезиса, что язык в некотором смысле является образом предзаданной реальности, заимствованного из докантианского источника.

Исключительный акцент на упомянутом тезисе заставляет других исследователей принять противоположную точку зрения. У. Бартли, например, считает, что “одна из главных идей “Трактата” – не только не-кантианская, но по духу до-кантианская. ... Толковать раннего Витгенштейна в духе Канта было бы неверно. Чтобы не погрешить против истины, надо признать, что в его труде есть следы кантианских тем, но они ни в коей мере не преобладают” [13, с. 186]. Развитие этой стороны позволяет поставить под сомнение то, что позиция, выраженная в “Трактате”, вообще имеет какой-либо трансцендентальный смысл, даже в отношении ‘перевернутого’ характера онтологии, зависимой от структур логики высказываний, поскольку “его философию логики инспирирует сущностно метафизический взгляд на природу символизма” [14, с. 36].

Наличие разнородных мотивов ни в коей мере не свидетельствует об эклектичности. Философия раннего Витгенштейна полифонична, но не эклектична. Она несёт отпечаток традиции, но попытка однозначно вписать её в то или иное направление всегда будет выглядеть односторонней. Всё дело в том, что опыт “Логико-философского трактата” – это новый философский опыт. В нём вполне выразился тот способ постановки философских проблем, который в зачатке был уже у Г. Фреге. Этот новый опыт заключается прежде всего в том, что любая философская проблема начинает рассматриваться как проблема употребления языка. Но если до Витгенштейна этот опыт не выходил за рамки частных примеров, рассматривающих отдельные языковые практики (скажем, практику логического вывода у Фреге, все следствия теории которого должны пониматься и интерпретироваться исключительно с точки зрения этой практики), то в “Трактате” этот опыт обобщается до выяснения условий возможности языковой практики как таковой.

Подобный подход полностью переориентирует задачу философии, которая более не рассматривается как теория, подобная науке, в том смысле, что она не является совокупностью предложений, высказывающих нечто о мире и являющихся истинными или ложными. Цель философии – указать границы осмысленности, границы выразимости смысла в языке, внутренней логики того, что говорится о мире.

В этом отношении позицию Витгенштейна нельзя охарактеризовать как строго критическую или как строго метафизическую, в ней синтезированы оба подхода. Она трансцендентальна, поскольку ставит проблему выразимости. При решении этой проблемы в ней поразительным образом сочетаются две противоположные, но всё же действительно критические тенденции. Во-первых, это попытка концептуализировать сферу теоретического, что по устремлениям в высшей степени близко позиции Канта и служит крайним выражением рационализма. Во-вторых, это попытка деконцептуализировать практическую сферу (практическую в смысле Канта), что

по духу отвечает философии Шопенгауэра и в конце концов приводит к крайнему выражению мистицизма.

И то, и другое осуществимо с точки зрения Витгенштейна в рамках критики языка, так как границу выражения смысла можно провести только в языке. Но последнее требует понимания сущности языка, характера его связи с действительностью. Это тоже можно было бы осуществить в рамках трансцендентального подхода, если бы стремление к окончательной деконцептуализации практического не потребовало бы полной элиминации субъективности из области выразимого, что привело как раз к тому, что субъект и всё соотнесённое с ним как раз и оказались тем, что не может быть выражено. Последнее не позволяет даже поставить вопрос о соотношении языка с его носителем, а следовательно, и вопрос о трансцендентальном характере самой языковой деятельности. Язык, как он представлен в “Трактате”, рассматривается только с точки зрения ‘внеличностного изображения мира’, что как раз и отвечает за метафизическую компоненту в философии раннего Витгенштейна. С точки зрения такого ‘внеличностного изображения мира’ кажется вполне оправданным то исключительное внимание, которое уделяет формальной логике философ. Витгенштейн движется в русле философского антипсихологизма в обосновании логики, что характеризует не только его позицию, но и позицию наиболее интересных мыслителей начала века, например Г. Фреге и Э. Гуссерля. Однако его установка весьма своеобразна и не имеет аналогов в традиции. Он предпринял, пожалуй, беспрецедентную попытку. Никто до него не только не пытался обосновать аналитические науки из собственного источника, т.е. не объясняя их особым интересом познания или онтологическими структурами, но подобный ход мысли не рассматривался даже в качестве проблемы.

Такой подход диктуется самим пониманием философии как деятельности по прояснению мысли. Поскольку методом такой деятельности является логика, она не может быть вписана в доктринальные рамки онтологии и теории познания. Наоборот, понимание последних есть следствие, затребованное спецификой логического анализа. В этом как раз и заключается представление об автономии логики. Сформулировав в “Дневниках 1914–1916” основной принцип философии логики: “Логика должна заботиться о себе сама” [7, с. 17] и последовательно эксплицировав его в “Логико-философском трактате”, Витгенштейн заложил совершенно новые принципы исследования своеобразия аналитического знания. Он выводит формальную логику из-под довлеющего начала онтологии и теории познания, считая, что при прояснении её основных понятий необходимо отталкиваться исключительно от особенностей её символического языка. Логика как исследование универсальных возможностей осмысленных утверждений не может быть фундирована никакой онтологией, как раз наоборот, поскольку именно логика устанавливает критерий осмысленности, любая онтология есть следствие логического прояснения возможных взаимосвязей структур описания. Как универсальный метод прояснения мыслей логика не может зависеть и ни от какой эпистемологии, поскольку

теория познания рассматривается лишь как частная философская дисциплина.

Для Витгенштейна не существует никаких особых логических предметов и законов, описывающих особенности их функционирования, дело логики заключается в создании системы удовлетворительной знаковой записи, которая была бы свободна от эквивокаций естественного языка. Это достигается, в частности, за счёт того, что логическая запись освобождается от психологических условий протекания процессов мышления, поскольку “в логике не мы выражаем то, что хотим с помощью знаков, а выражает себя сама природа существенных и необходимых знаков” [1, 6.124]. Ориентация на выразительные средства, однако, не означает, что логика никак не связана с миром. Природа знаков предполагает их необходимое отношение к обозначаемому. Условия построения системы описания мира, освобожденного от всякого конкретного содержания, указывают на ту специфическую особенность логического, которая позволяет моделировать систему необходимых взаимосвязей дискурса, охватывающего всякую возможную реальность. В языке единственно выражает себя способность познания действительности, в этой способности мы обладаем тем видом априорного знания, которое, задавая формальные структуры логики, создаёт необходимые условия систематического единства истины. Познавая сущность описания, мы познаём сущность описываемого, а тем самым – сущность мира. Логика выступает как условие мира, она трансцендентальна. “Логика заполняет мир; границы мира суть и её границы” [1, 5.61].

Задавая необходимые условия описания, логика определяет онтологическую структуру мира, поскольку в её компетенции решать, что может иметь место в мире, а что нет. Именно в этом смысле она выступает основанием метафизики. Связь логического и онтологического, отношение отображения задаёт логическая форма, которая едина у описания и описываемого. “То, что во всякой картине, при любой её форме, должно быть общим с действительностью, дабы она вообще могла – верно или неверно – изображать её, суть логическая форма, т.е. форма действительности” [1, 2.18]. Логика показывает логическую форму систематическим прояснением необходимых связей знаков, создавая совершенные грамматику и синтаксис. Грамматика задаёт систему элементарных неопределяемых знаков, характер отношения к реальности которых определён их вхождением в образ, связанный с миром системой истинностных функций. Элементы и структурные отношения образа определяют элементы и структурные отношения действительности. “Определённое соотношение элементов в картине – представление о том, что так соотносятся друг с другом вещи” [1, 2.15].

Грамматика элементарных выражений определяет действительность, прослеживая её до совокупности независимых первоэлементов. Она, так сказать, определяет мир изнутри, разлагая её на совокупность независимых атомов, и выступает минимальным пределом логического анализа. Особенность грамматической структуры однозначно определяет тип и способы функционирования знака и, тем самым, соответствующего ему

предмета. Логика ставит и максимальный предел анализа, позволяющий взглянуть на мир в целом.

Взгляд на действительность извне определяет совокупность систематическим образом выстроенных логических предложений. Тавтологии не говорят ничего, но они показывают свойства универсума в целом, задавая все возможные упорядоченные связи знаков, которые проявляются в единстве условий истинности описания мира. “Язык, способный выразить всё, отражает определённые свойства мира в тех свойствах, которые он должен иметь; и так называемые логические предложения показывают эти свойства систематическим образом” [15, с. 133].

Философский анализ языка в пределах минимума и максимума простирается от элементарных предложений, являющихся минимальным образом действительности, до вполне обобщённых, которые, на первый взгляд, такую связь полностью утрачивают. Класс осмысленных языковых выражений в этом диапазоне чрезвычайно широк и образует различные типы дискурса (предложения математики, естественнонаучные предложения, предложения с пропозициональными установками и т.д.). Задачу логики как метода концептуализации теоретической сферы, отличающего осмысленное от бессмысленного, Витгенштейн связывает с редукцией всех предложений к элементарным предложениям, которые посредством отношения отображения имеют непосредственную связь с действительностью. Функционально-истинностное исчисление, разработанное Фреге и Расселом, как раз и служит этой цели. Так логика демонстрирует логическую форму отображаемого, в качестве предела ориентируясь на две крайние точки показанного: первое – весь мир в целом (система тавтологий); второе – простые предметы и их констелляции (полностью проанализированные предложения).

Важно учитывать, что, используя функционально-истинностное исчисление для прояснения отношений в рамках формальной системы знаков, Витгенштейн не ориентирован на построение идеального языка, который мог бы заменить несовершенный обыденный язык. Каждый язык совершенен постольку, поскольку выполняет свою цель. Логика лишь показывает, как работает любой язык, в том числе и язык повседневного общения, когда задаёт критерии его осмысленного использования, моделируя соответствующую ему онтологию с помощью проектирования системы знаковых отношений на действительность.

Разработка критерия осмысленности языковых выражений приводит ещё к одному важному результату. Ло-

гический анализ как метод концептуализации сферы теоретического есть крайнее выражение рационализма. С другой стороны, Витгенштейн рассматривает логику и как метод деконцептуализации сферы практического (в смысле Канта), что служит крайним выражением его мистицизма. Освобождаясь от эпистемологических предпосылок в стремлении обосновать автономию логики, он преодолевает любую её психологизацию тем, что субъект элиминируется из языка описания, из сферы аналитического, он там себя не обнаруживает. “Субъект не принадлежит миру, а представляет собой некую границу мира” [1, 5.632]. Он помещён в мире подобно глазу в своём поле зрения. И как из анализа поля зрения нельзя заключить, что оно видится глазом, так и, анализируя мир, нельзя обнаружить субъекта. “То, что мир является моим миром, обнаруживается в том, что границы особого языка (того языка, который мне только и понятен) означают границы моего мира” [1, 5.62]. Сама граница не выразима в языке, она лишь показывается целостной системой осмысленных выражений, которую определяет логический анализ. Субъект не обнаруживает себя в теоретической сфере, так как логический анализ элиминирует его, редуцируя пропозициональные установки (контексты знания, мнения, веры и т.п.) к индикативным предложениям [1, 5.542], он может обнаружить себя лишь в ценностях, но последние как раз и не выразимы в языке, поскольку не обладают логической формой, которую могут охватить его осмысленные выражения.

Ценности не соответствуют структуре факта, а значит, выходят за рамки описания мира, из сферы логического, за рамки того, что может быть концептуализировано, поскольку смысл всего этического и эстетического в соотносённости с субъектом. То, что образует область этического, не может быть артикулировано в языке, а может лишь мистически переживаться. Этика, подобно логике, трансцендентальна, с той лишь разницей, что она устанавливает границу мира извне, *sub specie aeterni*. Но именно поэтому позитивная этика, как система знания, выраженная в языке, невозможна. Однако невыразимое можно показать, устанавливая границы выразимому. В этом отношении логика выступает в качестве отрицательной этики, методически показывая то, что может быть сказано, она отрицает сферу мистического молчания, ориентируя на практическое осуществление этических императивов. Для Витгенштейна логика и этика не просто одно, логика – это единственно возможная и, к тому же, осуществлённая этика.

ЛИТЕРАТУРА

1. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы (ч. 1). М.: Гнозис, 1994. С. 1–75. (Ссылки на этот текст будут приводиться не постранично, а с указанием нумерации афоризмов.)
2. Hacker P. Laying the Ghost of the Tractatus // Ludwig Wittgenstein: Critical Assessments, vol. 1. London: Croom Helm, 1986. P. 76–91.
3. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы (ч. 1). М.: Гнозис, 1994. С. 76–320.
4. Black M. A Companion to Wittgenstein's "Tractatus". Cambridge: University Press, 1964. xii + 451 pp.
5. Ryle G. Ludwig Wittgenstein // Essays on Wittgenstein's Tractatus. New York: The Macmillan Company, 1966. P. 1–8.
6. Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. Томск: изд-во “Водолей”, 1998. 192 с.
7. Stenius E. Wittgenstein's Tractatus: a Critical Exposition of its Main Lines of Thoughts. Oxford: Basil Blackwell, 1960. 241 p.
8. Wittgenstein L. Prototractatus. New York: Cornell University Press, 1971. 256 p.
9. Витгенштейн Л. Заметки по логике // Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. Томск: изд-во “Водолей”, 1998. С. 115–133.
10. Anscombe G.E.M. An Introduction to Wittgenstein's Tractatus. London: Hutchinson University Library, 1959. 179 p.

11. Shwayder D.S. Wittgenstein on Mathematics // Studies in the Philosophy of Wittgenstein. London: Routledge, 1969. P. 66–80.
12. Pears D. Wittgenstein. London: Fontana, 1971. 212 p.
13. Бартли У.У. Витгенштейн // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. Москва: Прогресс, Культура, 1993. С. 139–272.
14. Baker G. Wittgenstein, Frege and the Vienna Circle. Oxford: Basil Blackwell, 1988. xxii+274 pp.
15. Витгенштейн Л. Заметки, продиктованные Мурру // Витгенштейн Л. Дневники 1914 – 1916. Томск: изд-во “Водолей”, 1998. С. 133–147.

Статья представлена кафедрой истории философии и логики философского факультета Томского государственного университета, поступила в научную редакцию 1 октября 1998 г.

УДК 14

В.Н. Сыров

ПОЧЕМУ ДЕРРИДА ОТРИЦАТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К КОНЦЕПТУ “ПРИОСТАНОВКА РЕФЕРЕНТА”?

Дается оценка распространенного в современной философской литературе тезиса о “приостановке референта”. В качестве выражения данной позиции взяты рассуждения французского философа П. Рикера. Показано, что сохранение данного тезиса возрождает представление о языке как отражении внелингвистической реальности, а значит, и все трудности западноевропейской метафизики. Концепт приостановки или расщепления референции приводит к тому, что достоверность сообщения связывается с наличием внеязыкового референта. Тогда любые другие типы сообщений приходится относить к области мифологии или идеологии, т.е. вымысла, или связывать их достоверность с методами классического философствования: диалектикой или дедукцией. Решение проблемы связывается с применением концепта “деконструкция”, разработанным французским философом Ж. Деррида. Оперированием концептом “деконструкция” избавляет от проблемы соотношения сообщения с референтом для установления его истинности или его понимания, поскольку приоритетной становится процедура рассеивания смысла проблематизируемых фрагментов традиции.

В своем интервью с В. Подорогой, Н. Автономовой и М. Рыклиным Ж. Деррида высказал следующую мысль: “...Что касается литературы, то достаточно большое количество людей хотело бы представить мое понимание литературы как находящееся в зависимости от того, что они называют *приостановкой референта*, а это прямо противоположно направленности моих усилий” [1, с. 54]. Философ проясняет такое отношение, подчеркивая, что у того, что именуется “текст”, нет предела, нет ничего “внешнего” ему [1, с. 154]. Резонно спросить, в чем суть данного концепта, почему Деррида не желает отождествлять себя со сторонниками такой позиции и вообще имеет ли она какое-то значение? Можно добавить еще вопрос к его объяснению причин такого отношения: в каком смысле у “текста” нет предела и нет ничего ему внешнего?

Разъяснение и даже выражение подхода с позиций “приостановки референта” мы можем встретить у известного французского философа П. Рикера, в частности в его книге “Герменевтика и гуманитарные науки”. Рикер начинает с рассмотрения эпистемологической проблематики, которая всегда должна начинаться с ситуации “дистанцирования” и заканчиваться процедурой “присвоения”. Уже здесь возникает начальная антиномия. Чтобы нечто могло стать объектом познавательного интереса, оно должно приобрести дистанцию или стать отчужденным от познающего субъекта. Но, с другой стороны, отчуждение всегда несет угрозу утраты понимания или связи с нашим миром, которая реализуется в присвоенном. Решение антиномии, как известно, предполагает введение концептов, которые могли бы сыграть роль посредника [2, с. 131]. Что же это за посредники или сеть посредников?

Очевидно, продолжает Рикер, что первичный акт дистанцирования проявляется в произнесении или, как он говорит в одной из статей, в “возведении в язык” [3, с. 4]. При этом мы имеем дело со спецификацией такой возведенности, которую он обозначает достаточно почтенным термином “дискурс”. Введение лингвистами концепта “дискурс”, как известно, позволило снять оппозицию языка как формализованной структуры и речи как продукта применения языка. Дискурс у Рикера получает следующие характеристики. Прежде всего, минимальный уровень дискурса – предложение. Произнесение предложения является событием в отличие от вневременности языка, поскольку осуществляется в настоящем. Как событие дискурс предполагает авторство в том смысле, что предложением или серией предложений некто выразил нечто. В дискурсе происходит, как говорит Рикер, “появление мира в языке”, поскольку произнесенное предложение всегда о чем-то. И, наконец, всякий акт высказывания обычно предполагает адресата, коммуникацию, обмен посланиями, т.е. обращен к кому-то [2, с. 133–134]. Если концепт “событие” конституирует характер появления и существования дискурса, то концепт “смысл” конституирует его назначение: если нечто произнесено, то должны существовать условия понимания произнесенного. Новым диалектическим

ходом является введение концепта “работа”. Работа делает дискурс чем-то большим, чем просто предложение. Работа предполагает не просто совокупность предложений и стремление их неоднократно произносить, но и организацию посредством разнообразных жанров. Тем самым перед нами возникает “текст” как связь предложений и даже более чем текст, а именно разные уровни правил размножения текстов от жанров до стиля. В результате дискурсы как такие системы правил становятся реализацией синтеза всеобщего, т.е. языка, и индивидуального, т.е. речи.

Принцип работы позволяет перейти от события к пониманию или смыслу. Прежде всего, происходит корреляция интенций автора и текста, поскольку размножение текстов выступает свидетельством стремления автора выразить себя в продукте. Для понимания смысла сказанного уже нет надобности обращаться к его намерениям. Тем самым сменяются традиционные задачи герменевтики. Формируется путь решения еще одной антиномии понимания. Язык как структура вневременен и потому понятен. Речь индивидуальна и ее понимание сильно зависит от условий места и времени. Концепты “жанр” и “стиль” позволяют решать проблему тем, что воплощают систему правил расшифровки каждого отдельного предложения или текста [2, с. 136–138].